

Даниэль Рош

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ИСТОРИИ КУЛЬТУР: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ¹

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого
«Университетская книга». Международный Центр по изучению XVIII века.
Москва — Санкт-Петербург — Ферней-Вольтер, 2001. С.253–285.

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов *Vive Liberta* и *Век Просвещения*

Всякий, кто задастся целью понять, каким образом на смену поколению 50-60-х годов, занятому преимущественно социальной и экономической историей, пришло поколение 80-90-х годов, интересующееся в первую очередь историей культур и ментальностей, столкнется с одной, и очень существенной, трудностью. Как дать исчерпывающее и «работающее» определение культуры как автономной сферы? Определений культуры, нормативных и исторических, существует великое множество. По данным Крёбера и Клакхона, к 1952 г. в немецкой и англо-американской антропологии их накопилось 163. Слово «культура» остается весьма двусмысленным и коварным; использовать его с толком можно, лишь соотнося «культурную» сферу с тем, что в эту сферу не входит, прежде всего, с социальными группами, а в таком случае культуру следует вписать в гораздо более широкие рамки: ее невозможно понять, не зная, как на той или иной исторически сложившейся территории изменяются представления людей о самих себе и каково устройство населяющего эту территорию общества. Вдобавок историки, принадлежащие к разным культурным традициям, и термин «культура» понимают по-разному. Для немцев культура — это вся цивилизация и все формы общественного поведения. Для французов и англичан это сумма знаний и интеллектуальных навыков, присущих или, по крайней мере, доступных определенным слоям общества. Для одних культура полностью вписывается в рамки антропологии, другие видят в ней способ исследовать исключения из правил, изучать границы и пути распространения перенятых, благоприобретенных привычек, предметов подражания и раздора. Современные историки опираются в своей работе на то определение культуры, которое лучше всего сформулировал еще в 1958 г. в «Структурной антропологии», Клод Леви-Строс: «Действительно, термин "культура" употребляется для обозначения множества значимых различий, причем из опыта выясняется, что их границы приблизительно совпадают. То, что это совпадение никогда не бывает абсолютным и что оно обнаруживается на всех уровнях одновременно, не должно помешать нам пользоваться понятием "культура"»². Если исходить из этой теоретической предпосылки, следует принять и два вытекающих из нее основных следствия: первое заключается в том, что исследование культуры невозможно без изучения обменов между личностями, группами, обществами, пространствами; второе — в том, что исследовать культуру нельзя, не изучив предварительно социальную систему, в которой она развивается, не рассмотрев то целое, разные элементы которого претерпевают изменения, причем отнюдь не обязательно в одном и том же темпе. Именно поэтому такие термины, как *усвоение* или *взаимодействие разных временных пластов*, сыграли основополагающую роль в работах исследователей моего поколения. Наши учителя побудили нас двигаться в двух направлениях. Прежде всего, они приучили нас брать на вооружение данные экономической и социальной истории; в этом отношении особенно большое значение имели работы Лабрусса и Броделя.

Чья главная заслуга — умение находить связи между структурами и обстоятельствами, между факторами пространственными и временными и таким образом постоянно держать в поле зрения не только развитие общества, но и переломы, нарушающие плавность этого развития. Оба ученых много размышляли о культуре, но понимали ее по-разному. Для Лабрусса она оставалась связанной с политикой и идеологией, Бродель же, стремясь понять, что же именно препятствует переменам, ставил на первое место соотношение интеллектуальной сферы с материальной; вспомним, например, об *оковах длительной временной протяженности*, определяющих ментальности. Однако мы получили от наших учителей и другой урок: мы зависим также и от великой исторической воли, которая предполагает способность историков понять реальность во всей ее целостности и полноте. Мысль эта уже давно породила представления о взаимозависимости уровней реальности, для постижения которой необходимо отказаться от анахронизмов, а также уметь описывать те средства, которыми располагают люди на данном историческом этапе, тот ментальный инструментарий, который имеется в их распоряжении, от состояния языка до понятийного аппарата различных наук, от чувственных оснований мысли и аффективных коммуникативных средств до систем восприятия и воссоздания реальности в сфере представлений.

В свете всего сказанного бесполезно обратиться к своему собственному опыту. Сегодня целый ряд понятий и выражений, таких, например, как *ментальность*, *история киши*, *история культур*, *история печатных изданий*, *ученая культура*, *народная культура*, сделались привычными и общеупотребительными. Напротив, 20 лет назад исследования поведения и верований во Франции при Старом порядке еще только начинались. Сегодня везде, не только во Франции, но также в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии и особенно в Италии, ученые по-новому ставят многочисленные вопросы, опираясь на гораздо более разработанную методологическую базу. Работы этих ученых представляют собой не столько плод исполнения заранее разработанной и до мелочей продуманной программы, сколько завершение коллективных и индивидуальных поисков, иначе говоря, ответы на вопросы, которые каждый из исследователей поставил перед коллегами и которые они поставили перед ним. Я могу рассказать о своем собственном пути. Однако каждому известно, что карта не дает полного представления о территории и что многоликость этой последней может сбить с толку любого путешественника. Таким образом, важно не столько описать пройденные этапы во всем их многообразии, сколько попытаться понять, почему ты последовал по избранному пути и почему это помогло тебе опознать и размежевать тот участок исторического поля, который долгое время оставался под паром или же изучался и интерпретировался совсем не так, как кажется верным тебе. Можно ли и нужно ли, впрочем, задавать самому себе подобные вопросы?

Можно ли? Заговорив об этом, мы затрагиваем, с одной стороны, проблему академической ясности, а с другой — проблему интеллектуальной скромности, не отменяющей, однако, необходимой веры в свои силы. Нужно ли? Честность требует не приписывать исследовательскому труду априорной ясности и связности и признать, что качества эти рождаются лишь в процессе работы и что предугадать, какое место ты будешь занимать на подмостках, создающихся в результате смены — или столкновения — поколений, заранее невозможно. Если мы отвергаем телеологичность и анахроничность в изучении Истории, мы с тем большим основанием обязаны отказаться от них при написании интеллектуальной автобиографии историка. Распределение мест в профессиональной иерархии слишком сильно зависит от причуд Фортуны, чтобы тот или иной человек мог, не колеблясь, публично приписать себе весомую роль в становлении исторической науки, которая, в сущности, была для него не чем иным, как ремеслом со своими обязанностями, своими радостями и триумфами, своими заблуждениями, как осознанными, так и бессознательными, своими обидами и отречениями, своими вопросами, обращенными как к прошлому, которое невозможно вернуть, так и к будущему, которое исчезает за горизонтом нашей жизни.

Описание собственного профессионального пути обретает смысл, если принять за данность, что, двигаясь вспять по шкале времени, можно, по контрасту, пролить свет на интеллектуальную эволюцию своего поколения. В нашем случае речь пойдет о группе историков, окончивших высшие учебные заведения после Второй мировой войны, в конце 40-х и в 50-е годы, в ту пору, когда «новая история», или то, что, за неимением лучшего термина и не без приблизительности, именуют школой «Анналов», еще не приобрела той всемирной известности, какой она пользуется сегодня. Хотя многие идеи и проблемы, ныне стараниями расторопных издателей сделавшиеся всеобщим достоянием, уже пользовались в тогдашней высшей школе большой популярностью, тем не менее факт остается фактом: до тех пор, пока «новая история» не обрела власти над публикой и не получила признания в обществе, и ее происхождение, и ее будущее вызывали у многих весьма скептическую реакцию. Успех наследников не должен заслонять того обстоятельства, что они многое получили от своих предшественников. Масштаб победы не должен уничтожать память о выборе собственной позиции. Только таким образом можно постичь главное, выяснить, какие связи устанавливаются между социальным воспроизводством и воспроизводством интеллектуальным. Между тем как раз это и составляет предмет истории культур: важно понять, почему именно эта совокупность вопросов постепенно обретает вес и смысл на рынке идей, а также каким образом коллектив интеллектуалов усваивает эти вопросы и проблемы и превращает их в основное содержание своей жизни.

Так создается общность понимания в определенных обстоятельствах. Оглядываясь назад, каждый лучше различает ту путеводную нить, которая указывала ему дорогу; оглядываясь назад, каждый может лучше оценить то место, какое он занимает в культурной и университетской среде, однако я все равно не вполне убежден, что наиболее надежные свидетельства о нашей собственной научной карьере можем предоставить мы сами. Впрочем, подобная попытка позволяет отнестись к пройденному пути как к чему-то *само собой разумеющемуся* и, вне всякого сомнения, лишний раз убедиться, что новые вопросы ставятся, различия обнаруживаются, расхождения усугубляются только в результате внутреннего диалога с нашими предшественниками и последователями. По моему убеждению, вести этот диалог обязан всякий настоящий профессор, старший, учитель. Те же, кто по той или иной причине от этого диалога отказываются, подрывают самые основания нашего ремесла.

Сорбонна без «Анналов»

Размышлять о Сорбонне 50-60-х годов, где я учился, мне сейчас немного странно. Мало того, что нередко мы томились от скуки, поскольку знаменитые профессора слишком часто преподавали историю очень скучно, мало того, что азы ремесла мы изучали самостоятельно, а некоторые профессиональные приемы благодаря способности к избирательному подражанию перенимали от лучших педагогов, но, в довершение всего, мы почти не ощущали тех перемен, которые как раз тогда начинали происходить в нашей науке. У нас никто не говорил ни слова ни об «Анналах», ни, тем более, о Броделе. Этот последний, если судить по намекам, суть которых более осведомленные студенты раскрывали для студентов совсем несведущих, представлялся некоторым из преподавателей фигурой поистине дьявольской. Настоящая жизнь текла за стенами Сорбонны — там шли политические схватки, там разгорались споры в Нормальных школах, там устраивались первые семинары в только что обосновавшейся на новом месте Школе высших исследований (вести о них доносились до нас от старших товарищей), наконец, там читались лекции в Коллеж де Франс, которые самые дерзкие из нас отваживались посещать. Говоря короче, в бытность свою студентом я интересовался в основном изучением университетской программы. Я был свидетелем, сам, однако, того не сознавая. Одно из моих воспоминаний служит хорошей иллюстрацией тогдашней атмосферы.

Заглянув в мою экзаменационную работу, преподаватель, читавший нам историю Средних веков (ныне известный ученый), сказал: «Оставьте этот стиль школе "Анналов"». Меня эта фраза натолкнула на два открытия, показывающие меру моей наивности: во первых, я понял, что история — это еще и стиль, иначе говоря, не просто манера писать, но еще и способ видеть мир и жить в нем; во-вторых, я выяснил, что кому-то могут не нравиться вещи, которые казались мне совершенно естественными, превосходными и доступными, хотя как именно овладеть ими, я еще толком не знал. Поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что политическая и профсоюзная деятельность давала многим студентам, и мне в том числе, гораздо больше возможностей для самовыражения. Еще менее удивительно, что когда настала пора выбрать тему для дипломной работы, мы оказались в доме 62 по улице Клода Бернара, у Эрнеста Лабрусса.

Эрнест Лабрусс: от экономической истории к социальной

Я вовсе не собираюсь предлагать вам здесь портрет в агиографическом роде, однако я должен искренне признаться, что убежден: никакими словами не выразить все то, чем мое поколение обязано этому ученому, не объяснить, чем был он для большинства из нас. Другие уже рассказали или еще расскажут об этом куда лучше, чем я; что же касается меня, то нет никаких сомнений: именно благодаря Лабруссу я стал историком ушедших обществ и — это еще более очевидно — историком культур. Ведь не кто иной, как Лабрусс, познакомил меня с работами социалистического и марксистского направления, о которых я в свои 20 лет не имел ни малейшего представления. От него же я узнал и о работах французских социологов, чтение которых принесло мне огромную пользу; именно его пылкие, доброжелательные и серьезные речи убедили меня в необходимости исторического изучения социальных групп. В ходе наших бесед он открыл мне — и тем самым как бы передал в наследство — свое заветное желание, заключавшееся в том, чтобы глубже постичь сущность великого перелома, свершившегося в конце XVIII столетия, при переходе от эпохи Просвещения к революции. Наконец, именно благодаря Лабруссу я занялся делом, которое, раз начав, уже невозможно бросить, — живой исследовательской работой, которая не имеет конца, ибо один предмет тянет за собой другой, и для которой необходимы такие качества, как интеллектуальная любознательность, уважение к чужому мнению, терпимость в спорах, стремление рано или поздно докопаться до сути дела. Приобщая целое поколение к изучению экономической и социальной истории, Лабрусс сообщал новую жизнь «Анналам». Ведь не следует забывать, что студенты начала 50-х годов имели в своем распоряжении только сам журнал, основные работы Люсьена Февра, две диссертации Лабрусса и «Средиземноморье» Броделя (издание 1947 г., на скверной желтой послевоенной бумаге). Ни один из классических трудов, благодаря которым впоследствии и родилась «новая история», в ту пору еще не был опубликован. Все еще только начиналось, нам были открыты все пути, но знали ли мы об этом? Конечно, нет.

Пьер Губер, преподававший мне в Высшей нормальной школе в Сен-Клу, и Эмманюэль Ле Руа Ладюри, с которым я познакомился на семинаре у Жана Мёвре, куда меня привел страстный интерес к истории крестьянства, были для меня старшими товарищами — доброжелательными, дружески настроенными и куда более осведомленными. Им еще предстояло проявить свою индивидуальность и завоевать независимость, что они, впрочем, не замедлили сделать. Что же касается меня, то когда я вспоминаю тогдашний университет, довольно тусклый, но все-таки еще составляющий единый организм, единый цех, когда я вспоминаю некоторые семинары (и здесь самое время опять сказать о том, сколь многим мы обязаны заседаниям, которые проходили под руководством Жана Мёвре в Школе высших исследований, а продолжались зачастую в кафе «Ле Бальзар»),

наконец, когда я вспоминаю некоторые прочитанные в ту пору исследования — например, работу Дюби и Мандру о французской цивилизации³ или Анри-Жана Мартена о возникновении книги⁴, — то ростки будущего, которые я различаю в этом прошлом, предстают разнообразными и разнородными, как луч света, прошедший сквозь призму. На мой взгляд, только Лабрусс собирал все эти разнородные тенденции в единое целое — быть может, потому, что сам был воплощением разнообразия: историк экономики и общества, республиканец-социалист, в молодые годы видевший Жореса, он умел увлечь нас и вдохновить. Дальнейшее было, если говорить обо мне, делом случая.

Я преподавал в лицее Шалона-на-Марне; логично было бы избрать для диссертации тему, связанную с историей данного региона, и начать работу в местных архивах, но Лабрусс, преподававший в Высшей нормальной школе, меня от этого отговорил; он терпеливо и благодушно наблюдал за моими метаниями: сначала я хотел заниматься сицилийской знатью, но удаленность от Италии и уже начавшие сказываться трудности совмещения преподавательской работы с исследовательской меня остановили; затем я заинтересовался принцами крови, в связи с чем Лабрусс направил меня к Марселю Рейнару, но из этого тоже ничего не вышло; наконец, я остановился на членах провинциальных академий, и в этой работе, которая в результате растянулась на 10 с лишним лет, получил неожиданную и драгоценную поддержку Альфонса Дюпрона. В конечном счете я всегда оставался равнодушен к проблеме историографического переселения «из подвала на чердак» (если воспользоваться выражением Мишеля Вовеля и Мориса Агюлона), ибо, храня верность заветам Лабрусса, всегда мечтал заниматься социальной историей культуры, иначе говоря, дисциплиной, отличной от истории идей и приближающейся скорее к истории классового сознания. Да простят мне эту устаревшую лексику, звучащую особенно немодно сегодня, когда всякий знает, что «буржуазии больше не существует» и о *классах*, не говоря уже об их *сознании*, можно рассуждать лишь с очень большими оговорками. Оставалось определить эпоху, которой я буду заниматься — я с самого начала избрал Новое время, а точнее XVII–XVIII вв., и метод — я старался изучать одновременно и культуру, и другие сферы общественного движения. С одной стороны, мне всегда хотелось ответить на вопрос, возможно ли создать социальную историю культур и сохраняет ли она, несмотря на все справедливые критические замечания по ее адресу, смысл и значение; с другой стороны, мне хотелось отыскать способ на основании архивных документов, рукописных и печатных текстов составлять представление о переплетении поступков, познаний и верований, которые и создают определенную форму культурного потребления, превращают культуру в источник власти (о формах доступа к этой власти, о возможности или невозможности подобной инициации мы еще поговорим ниже).

Книга и общество: исследование тем

Общие вопросы впервые были подняты в ходе коллективного исследования, которое осуществлялось в VI секции Школы высших исследований под руководством Франсуа Фюре и результатом которого стала публикация двух томов под названием «Книга и общество во Франции в XVIII в.», вышедших соответственно в 1965 и 1970 г.⁵ Тома эти вызвали во Франции и за ее пределами немало споров, и потому мы вправе остановиться на них поподробнее. В ту пору, когда они появились, в университет пришло новое поколение преподавателей и благодаря этому сделалась очевидной интеллектуальная гегемония «Анналов»; с другой стороны, в эту же самую пору количество ученых, посвятивших себя изучению экономической и социальной истории, стало так велико, что возникла опасность некоторого перенасыщения.

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ИСТОРИИ КУЛЬТУР: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого

Vive Liberta и Век Просвещения

Нужно было так или иначе заняться *чем-нибудь другим*, сохраняя при этом верность первоначальным установкам. Коллективное исследование позволяло отказаться от той едва ли не единственной формы научной работы, которая была принята прежде, — сочиняемой в течение долгих лет и в абсолютном одиночестве докторской диссертации. К тому же новая форма, как показал Жак Ревель, была гораздо теснее связана с программой «Анналов». Способу плодотворному, но индивидуалистическому, каким обновлялась историческая наука в прежние годы, противопоставлялись коллективные размышления и коллективный труд; некоторые (в том числе и я) занимались этой новой деятельностью параллельно с написанием диссертации; другие — более удачливые — получили возможность вообще не защищать диссертацию, а вместо этого полностью посвятить себя новым исследованиям. На мой взгляд, опыт этот имел особенно большое значение потому, что способствовал разрушению перегородок между дисциплинами. Ведь в одних и тех же семинарах вместе со мной принимали участие и филологи, такие как Жан Эрар и Жак Роже, и философы, такие как Женестьева Боллем. Мне даже посчастливилось несколько раз в обществе Мишеля Фуко заниматься бумагами узников Бастилии, хранящимися в архивах Арсенала, и до сих пор не понимаю, почему он бросил это дело. Я прекрасно помню, насколько заразительна была любовь к книгам в этом человеке, наделенном богатым воображением и умением вызывать споры, историка, каким мечтают быть философы, философа, каким порой мнят себя иные, впрочем, весьма редкие, историки, к которым я не принадлежу, поскольку отношусь к числу законченных эмпириков (таким уж сделали меня природа и воспитание). Как бы там ни было, совместные исследования провоцировали сравнения и постановку вопросов, которые оставались открытыми; они способствовали созданию коллективных и продолжающихся работ, создавали несколько параллельных способов описания и интерпретации явлений и тем самым порождали совсем иное состояние ума, чем то, к которому располагают исследования индивидуальные. Первое коллективное исследование в области культуры, связанное с определенным подходом к изучению истории, отличалось от прежних двумя чрезвычайно существенными особенностями. Во-первых, оно порывало с традицией изучения исключительно великих произведений, которой до самого последнего времени хранили верность историки идей и историки литературы; оно на свой лад решало проблему интеллектуальных истоков Французской революции. Во-вторых, оно подчеркивало недостаточность такого подхода к эпохе Просвещения, при котором интеллектуальное новаторство отождествляется с прогрессивными социальными идеями и продвижением в социально-экономической иерархии. Говоря короче, новый взгляд на распространение книг и идей открывал возможность написать настоящую историю культурных истоков революции, то есть осуществить заветную мечту Лабрусса. Если раньше на первом месте стояла *идеология*, то теперь историки стали обращать преимущественное внимание на формы человеческого поведения.

С одной стороны, социальная история позволяла увидеть, как рождаются произведения и системы идей, как посредством книг и обычаев они передаются из одной среды в другую, претерпевая при этом существенные изменения по причине своей зависимости от эволюции системы их распространения.

С другой стороны, становилась очевидной потребность в создании полноценной истории культур, ибо сами системы классификации знаний и понятий показывали, что изучение социальной топографии должно быть чем-то дополнено и уточнено. Исследуя культуры теми же методами, какими предыдущее поколение исследовало экономику и устройство общества, историки, принимавшие участие в создании труда «Книга и общество во Франции в XVIII в.», открыли, что культура присутствует повсюду — и в экономике, и в общественном устройстве, ибо истинное представление о ней может дать только изучение разнообразных форм человеческого поведения.

В таком случае всякий вправе спросить у нас, что же такое культура и чем этот термин предпочтительнее термина «ментальность». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется сделать отступление, которое поможет понять, как происходил переход от одной истории к другой.

История ментальностей или история культур?

Если я предпочитаю вести речь об *истории культур*, то лишь потому, что наше коллективное исследование ставило целью понять разнообразные посредствующие звенья между объективными условиями жизни людей и бесчисленными способами представлять и описывать эти условия⁷. Так, лично я занимаюсь тем, что изучаю формы коллективного поведения, чувствования, воображения исходя из совершенно определенных объектов (говоря конкретнее — книг) и совершенно определенных типов общения. Разумеется, историк, ставящий перед собой такие задачи, не может не ощущать родства с *историей ментальностей* и не сознавать, что его цели близки тем, которые в основном были описаны Люсьеном Февром. Такая позиция предполагает отказ от трех старых привычек, чем, собственно говоря, наши методы и отличаются — что бы ни говорил по этому поводу Франсуа Фюре⁷ — от тех, каких придерживался Жорж Ленотр. Во-первых, речь идет не просто о том, чтобы включить в историческое повествование новых действующих лиц, но о том, чтобы составить их историю на основании не только письменных источников, но и документов самого разного рода. Во-вторых, мы больше не верим в старое определение факта, о котором якобы можно узнать только из письменных памятников и который так же неоспорим, как объект позитивных наук (если, впрочем, этот последний в самом деле столь бесспорен). Напротив, мы убеждены, что факты, которыми пользуемся мы, — объекты, сконструированные нами в соответствии с гипотезами, которые влияют на интерпретацию этих фактов, и что наша интерпретация входит как составляющая часть в ту картину, которая создается в результате сопоставления разных текстов и не может быть сведена к простой реконструкции прошлого. Наконец, в-третьих, история, с нашей точки зрения, больше не может быть наукой, раздающей награды, призванной узаконивать настоящее или оправдывать, в зависимости от склонностей того или иного ученого, Прогресс, Государство либо Nation. Если согласиться с зависимостью исторической науки от наук общественных, то придется согласиться и с тремя обязательными условиями, какие обязан соблюдать историк: прежде всего, он должен предпочитать истории абстрактных личностей историю социальных групп или же, если обстоятельства этому благоприятствуют, историю личностей типичных для своей группы; затем он должен предпочитать истории, ограничивающейся описанием реальности, историю, изучающую взаимозависимость реальных установлений и их изменений во времени; наконец, он должен исходить из двух фундаментальных установок: первая из них — отказ от анахронизмов в интерпретациях и от привычки заранее наделять смыслом ту или иную совокупность фактов; вторая — необходимость описывать ментальный инструментарий, характерный для определенной эпохи и находящийся в распоряжении как индивидов, так и целых социальных групп.

Историческая наука, которую я понимаю таким образом и которой я занимаюсь с 60-х годов, не совпадает полностью ни с историей ментальностей, которую развивают другие ученые, ни с историей идей. С первой ее роднит желание изучать общие способы чувствовать и думать, которые связывают коллективные представления и индивидуальные сценарии поведения с состоянием общества, а значит - с его историей, однако нынешнее состояние науки свидетельствует о том что исследователям трудно ограничиться таким темным, инертным и даже бессознательным объектом, как ментальность, и потому они переходят к описанию *ментального инструментария* той или иной эпохи.

Лично я считаю необходимым всегда, когда это возможно, уделять первостепенное внимание социальным агентам, владеющим этим инструментарием, а также исследовать возникновение социальных привычек, с тем чтобы понять, каким образом создаются условия для интериоризации этого инструментария. Говоря короче, я разделяю идеи Карло Гинзбурга и Мишеля Вовеля, убежденных, что «анализ, использующий понятие класса, всегда представляет большой шаг вперед по сравнению с анализом, который этим понятием пренебрегает»⁸. Если же сравнить ту историю, какой занимаюсь я, с историей идей и понятий, которую разрабатывают историки литературы или философии и во Франции, и за ее пределами, то необходимо подчеркнуть, что я уделяю особенное внимание таким явлениям, как *укоренение* и *обращение*, иначе говоря, я полагаю, что интерпретировать соотношения идей следует не в терминах детерминированности и влияния, не исходя из якобы самодостаточных текстов, но *исследуя структуры, лежащие в основе коллективных обычаев и коллективного поведения*. Отсюда следует, что та история общества и культуры, в рамках которой работаю я, отчасти совпадает с историей культурных моделей, идей и ментальностей; во всяком случае, вполне сознавая ограниченность наших сил, мы хотели бы сохранить тягу к глобальному и исчерпывающему решению поставленных проблем⁹. В связи с чем, естественно, особую важность приобретает выбор средств и методов.

Исследование типов общения в культуре

Что касается меня, то я попытался разрешить названные выше трудности, сосредоточившись на изучении типов общения в культуре, а также на изучении книг и, шире, форм письменности. Первое направление, разумеется, многим обязано Гюставу Лансону, который первым обратил внимание на необходимость исследовать интеллектуальную атмосферу в провинции, и Даниэлю Морне, автору «Интеллектуальных истоков Французской революции»¹⁰. Однако от своих предшественников мы отличаемся тем, что иначе ставим вопрос о том, какой смысл вкладывали люди XVIII в. в свои действия; иначе говоря, я отвергаю полное отождествление Просвещения и Революции. Большое значение имели для меня также работы Мориса Агюлона, который взял за основу старинные формы объединения людей в Провансе, а затем показал, каким образом эти формы эволюционировали (например, как сообщество кающихся грешников превращалось в масонскую ложу), а также каким образом возникали новые формы политического общения. Социальная история шести тысяч академиков, живших и действовавших в 1660-1789 гг., равно как и история 20 с лишним тысяч членов масонских лож, помогла разрушить множество прописных истин, принятых всеми на веру. Описывая сеть ученых обществ и масонских лож, исследуя географию их связей, историк мог наконец понять, как переплетались в процессе распространения Просвещения законное с незаконным, как неявно, но вполне ощутимо сочетались знания и власть. В то же самое время создавалась возможность уточнить, какое реальное место в обществе занимал тот культурный класс, представители которого читали и усваивали философические сочинения. Социальные исследования показывают, чем мотивировались поступки членов «литературной республики»; они свидетельствуют о том, что идеи неотделимы от культурного поведения. Это новое определение интеллектуальных классов позволяет сделать вывод, что всякое потребление в определенном смысле превращается в производство, а сопоставление разных типов общения позволяет отделить то, что связано с естественными моделями общества, основанного на неравенстве, от того, что связано с мечтами об обществе равных, вначале отвергаемом, а затем по молчаливому сговору вновь поднимаемом на щит¹¹.

Забывать Токвиля и Кошена?

Таким образом ставятся под сомнение концепции, вдохновляемые Токвилем и Кошеном, согласно которым в дореволюционной Франции интеллектуалы разошлись с властью, общественное мнение — с государством, следствием чего и явился успех демократических форм общения, в свою очередь породивших якобинство. Члены провинциальных академий и масонских лож, социализируя Просвещение, разрушили традиционную картину мира, однако история этого процесса не может быть сведена исключительно к истории культурных учреждений. Учреждения эти использовали идеологию интеллектуальной власти или масонскую идеологию в разных целях и разным образом; члены их действовали в соответствии с особенностями поведения своей социальной группой и разнообразными идеями, усвоенными в процессе коллективного или индивидуального чтения. Само по себе ни академическое, ни масонское Просвещение не является протестным, в какой-то мере и то, и другое стремится к укреплению прежнего положения дел с помощью новых аргументов. Ни академиком, ни масоном нельзя полностью отождествить с одной социальной группой, с Буржуазией с заглавной буквы; тем не менее они служат политическими и культурными проводниками новаторских философских концепций, *функция их заключается не в том, чтобы воплотить дворянскую или буржуазную идеологию, но в том, чтобы участвовать в развитии управленческой и утопической мысли.* Изменчивое смешение прошлого и будущего в академических и масонских кругах как раз и создает то, что мы называем культурной жизнью. Разумеется, вывод, который отсюда можно сделать, кого-то не удовлетворит, ибо покажется слишком простым или слишком очевидным, однако всякий историк культуры, не желающий искусственно разделять реальность и Представления о ней (ибо в процессе обращения текстов они обе явлены нам одновременно) и отказывающийся без конца ставить перед самим собой вопросы с заранее известными ответами, не может не прийти именно к этому выводу. Тот, кто занимается историей академий, видит в Революции завершение долгого пути, но при этом ясно сознает, что финал этот отнюдь не был телеологически предопределен. Это подтверждается уже тем, какие разные позиции занимали в переломные моменты и члены академий, и участники лож.

Таким образом, мы получаем возможность увидеть Просвещение в совершенно новом ракурсе: выходит, что *философические идеи* представляли собою явление маргинальное; их исповедовала только парижская и провинциальная интеллигенция, настроенная скорее вольтерьянски, чем материалистически, скорее умеренно, чем революционно. Природа академизма заставляет — того, разумеется, кто захочет принять ее во внимание, — по-новому взглянуть на весь век Просвещения в целом. В академиях теории философов дробятся, раскалываются, видоизменяются с тем большей легкостью, что тем же самым словарем пользуются и противники философов: «И те, и другие жаждут просвещать и толкуют о Просвещении»¹², — речи толстого аббата Бержье не сильно отличаются от речей тощего Вольтера, пусть даже воспринимают их совсем по-разному. В лоне академий вызревает политическая и культурная концепция абсолютной и просвещенной монархии, создатели которой на свой лад заботятся об *общественном благе* и однородности элит; с другой стороны, в их речах можно слышать также призывы к обновлению и к переменам. Кое-кто остался на прежних позициях и после 1789 г. — вспомним Шатобриана, назвавшего революцию порождением академий¹³. Однако для того, чтобы понять истинную роль академий, следует отказаться от намерения интерпретировать Просвещение исключительно в свете революции.

История книги и ее роль

Привычка к чтению, распространение письменных текстов, создание сочинений в устной или печатной форме — все это консолидирует общение внутри тех или иных типов культуры. Что же касается меня, то мне все это помогло открыть существование *истории книги* и научиться работать в рамках этой дисциплины. В последние полтора десятка лет работ на эту тему выходит все больше и больше, однако началось все на рубеже 60-70-х годов с исследований Анри-Жана Мартена, посвященных XVII в., и уже упоминавшегося сборника «Книга и общество». «История французского книгоиздания»¹⁴ подвела итог нашим представлениям об этом предмете и наметила направления для новых исследователей, среди которых следует назвать в первую очередь Роже Шартье¹⁵.

Впрочем, вначале будущее рисовалось отнюдь не столь ясно, и первые успехи были достигнуты далеко не сразу. Для того чтобы превратить книгу в новый объект истории, пришлось обратиться к оставленному нам наследству. К нашим услугам были работы библиофилов и библиологов, которые изучали книгу как предмет, описывали ее происхождение и ее издания в неперенных каталогах и в бесчисленных монографиях, посвященных тому или иному региону или городу, — драгоценнейший материал, ставший еще богаче благодаря появлению «английской» материальной библиографии. На все это следовало опираться, поставив, однако, перед собой совсем иную цель — понять, как действуют глубинные механизмы культуры. Первое, что мне дало изучение библиографических трудов, — разнообразные сведения, а порой еще и дружеское расположение библиотекарей, без помощи которых нечего и браться за работу такого рода. Новая история книгопечатания обязана очень многим их замечаниям и советам, их профессиональным познаниям. Поэтому наш долг — требовать и добиваться, чтобы публичные библиотеки, будущность которых тревожит интеллектуальное сообщество, работали нормально.

Кстати, в моей жизни история книги сыграла и другую важную роль: ей я обязан совместной работой и 20-летней дружбой с Роже Шартье, а затем и с Робертом Дарнтоном¹⁶; хотя мы шли разными путями и интересы наши менялись, диалог с этими учеными всегда обогащал меня и вдохновлял на новые поиски. Оба — настоящие историки книги, ибо именно ее они делают центральным предметом своих исследований, связывая воедино изучение текстов, материальных предметов и обычаев, которые те порождают в обществе. Что же касается меня, то я остался историком распространения книги и, шире, любых печатных изданий в обществе, однако меня больше интересуют возможные сравнения книги с другими предметами культуры, чтения — с другими явлениями культуры, в том числе культуры материальной.

Однако историки книги оттапливались в своих изысканиях не только от работ, написанных профессионалами книжного дела, которые зачастую были и крупными книгопродавцами (как, например, Виардо или Жамм), им приходилось заново перечитывать и работы историков литературы.

Накануне 1968 г. начались мои беседы, споры и сотрудничество с друзьями и сверстниками: Жоржем Бенрекассой, Жаном-Мари Гулемо, Мишелем Лоне и Эриком Вальтером. Общение с ними помогло мне лучше понять как их интерес к *текстуальности* и *литературности*, так и полное отсутствие у них интереса к материальным носителям текста и к среде производящей и потребляющей. Это, однако, не помешало нам всем вместе, но каждому на свой лад, двинуться в направлении, которое наметили еще Лансон и Морне и по которому первыми пошли Люсьен Февр и Анри-Жан Мартен. Однако история культуры отнюдь не тождественна истории литературы; их размежевание стало предметом дискуссии, которая, впрочем, так и не была доведена до конца.

Две истории не слились в одну, общую, но образовали — в основном по воле случая — некое содружество, в котором сосуществовали ученые со сходными интересами. Причина этого коренилась — если не касаться эволюции, которую претерпели в 70-е годы университеты, — в том, что историки этих двух направлений по-разному трактовали понятие текста.

Vive Liberta и Век Просвещения

Между производством текстов и их исследованием

Для того чтобы получить представление о всех текстах, произведенных в ту или иную эпоху, следует создать целый ряд описаний и классификаций, не совпадающих с общепринятой иерархией произведений, жанров, авторов. Если мы хотим понять, что читает общество, что оно пишет, производит и потребляет, мы обязаны хотя бы на время отказаться от анализа великих произведений, содержащих эстетические или интеллектуальные открытия, и обратить внимание не столько на абстрактное бытование идеи в определенных сочинениях, сколько на ее воплощение в тех социальных слоях, в которых она может укореняться и распространяться, поскольку там ей находят практическое применение. Такой подход позволяет нам лучше оценить соотношение новшеств и архаизмов, позволяет точнее датировать моменты радикального изменения картины мира и уловить, в каком темпе происходило усвоение новых идей. Это количественное изучение книг отнюдь не противоречит исследованию традиционных форм чтения, напротив, оно помогает взглянуть на них под новым углом зрения. Для социальной значимости текста вовсе не безразлично, является ли он творением исключительным или, напротив, одним из многочисленных образцов продукции, без конца тиражируемой и пользующейся массовым спросом. Если в наших исследованиях мы уравниваем все продукты культуры, то не оттого, что нам нет дела до смысла, вкладываемого в тексты их читателями, и до содержащихся в них новаторских идей, а оттого, что нас в первую очередь интересует та территория, на которой они распространялись, то целое, в рамках которого они могли возникнуть и сделаться источниками многочисленных прочтений. В отличие от истории литературы социальная история чтения должна строиться на обследовании социально значимых корпусов текстов; тексты эти могут быть пространными или короткими, главное, чтобы историк обращал внимание на общие условия их производства, которое, развиваясь в культуре по преимуществу устной, сообщает особую важность текстам письменным. Самое интересное заключается в том, что историк особенно тщательно изучает тексты, которые считаются бездарными или посредственными, но, однако же, имеют широкое хождение, потому что только через них он может получить представление о культурной жизни большинства, то есть о способах, посредством которых в тексты вторгается устная стихия. Напротив, к текстам, причисляемым к высокой литературе, историк культуры обязан относиться с величайшей осторожностью. Правила, по которым эти тексты появляются и исчезают, нельзя просто вынести за скобки; так, Ретиф де Ла Бретонн, который изображает деревенскую жизнь с точки зрения горожанина, не был, как показал Жорж Бенрекасса, обыкновенным свидетелем. В поисках самобытности он намеренно рисовал почти житийные портреты крестьян. Таким образом, литература как объект исследования историкам культуры отнюдь не заказана; главное — не пренебрегать ее специфическими функциями и подходить к текстам во всеоружии знания.

Считать или не считать?

Для тех, кто исследовал книги и чтение, а равно и формы общения ученых мужей, подсчеты были основным средством, но, конечно же, не целью. Они позволяли перейти от индивидуального к коллективному и уловить основные изменения. Между тем наши оппоненты увидели во всем этом *новый позитивизм*, к которому и свели нашу концепцию истории культуры.

Споры, начатые в 60-е годы нашими друзьями из числа историков литературы, например Жаном Эраром, и продолженные итальянскими историками идей (Франко Вентури и Фурио Диасом), разгорелись вновь после появления «Великого избиения кошек» Роберта Дарнтон¹⁷. К числу противников Дарнтон принадлежали и те, кто отвергал его полностью, и те, кто просто высказывал сомнения в целесообразности именно такого подхода к созданию истории культуры; аргументы у тех и у других были двоякого рода: с одной стороны, серийный анализ неминуемо чреват редукционизмом, поскольку уравнивает великих авторов со второстепенными; с другой стороны, такой анализ опирается на заранее установленные классификации, а они решительно не приспособлены к описанию объектов культуры; одним словом, книги следует не считать и описывать, а читать. В обоих случаях количественный метод упрекают в том, что он неспособен дать представление о субъекте — как индивидуальном, так и коллективном — и пренебрегает отношениями — как личными, так и общественными, — которые устанавливаются у действующих лиц истории с их собственной системой ценностей и верований, с их символическим миром. Возвращение к частным случаям, изучение отдельных текстов, говорят критики количественного метода, позволяет лучше понять, как в каждом конкретном эпизоде осуществляется взаимодействие между социальной позицией и культурным выбором. Бесспорно, что *серийная история* расширила круг исследуемых объектов и сломала многие перегородки между дисциплинами, однако приходится принять во внимание, что в споре между адептами количественных методов и сторонниками качественных оценок оживает старый упрек, сформулированный противниками социологического изучения религии: *веру измерить невозможно*. Лично я полагаю, что спор в данном случае беспредметен, потому что мне случалось использовать в одной и той же работе и тот, и другой тип анализа, и я мог убедиться, что они отнюдь не противоречат друг другу, а, напротив, друг друга дополняют. Приверженцы определенных критических и исследовательских процедур утверждают, что культурные объекты существенно отличаются от других объектов, производимых человеком, однако оправданы ли такие утверждения? Тексты, книги, даже изображения также поддаются подсчету, они также — в целом или в мелочах — связаны с экономикой общества. Количественный метод дает нам возможность оценить неравенство в распределении культурных благ, но еще важнее другое: эти сведения позволяют эффективно сравнивать различные социальные группы и оценивать существующие между ними разрывы гораздо точнее, чем это делают историки идей с их интуитивным подходом.

Так, показав, каким образом на протяжении длительного периода после Тридентского собора происходила популяризация принципов контрреформации, выведя кривую публикации научных и философских сочинений, мы сможем показать хронологическое расхождение между новаторством и традицией и, в то же самое время, доказать, что в разговоре об опережающем или отстающем развитии мысли ограничиться общими рассуждениями и сопоставлениями невозможно. Количественные методы и сегодня продолжают приносить пользу, особенно на предварительном этапе, предшествующем обращению к другим методам исследования. В самом деле, сфера их действия и выводы, к которым они могут привести, ограничены, однако, размышляя над устройством того объекта, на который они направлены, исследователь начинает лучше понимать саму его природу. Дело в том, что всякая классификация, всякая типология напоминают нам: категории, к которым можно отнести объекты культуры, подвержены изменениям; само производство этих объектов способствует их трансформации. Так, если форма культурного производства или потребления изменяет свое положение во времени или в пространстве, это приводит к изменениям системы классификации, а возможно, и самого статуса классифицируемых объектов.

Размышления о границах количественного подхода позволили взглянуть с новой точки зрения на соотношения, которые кажутся привычными и неизменными, но на самом деле являются временными и изменчивыми результатами тех самых процессов усвоения, которые мы и анализируем, — соотношения между творчеством и потреблением, ученым и народным, письменным и устным, угнетающими и угнетенными, городом и деревней, воображаемым и реальным. История социальной топографии служит основой для социальной истории восприятия и усвоения.

Если традиционная наука выстраивает иерархию, относя факты экономические, социальные и культурные к разным уровням, *от подвала до чердака*, то наша история предпочитает изучение *взаимодействий*. Кроме того, она исходит из возможности если не объяснить исчерпывающим образом, то хотя бы понять социальные явления, которые представляют собой не столько выражения значительных тенденций общественного развития, сколько их специфические временные модификации. Наконец, наша история ставит своей целью исследование различных способов усвоения людьми мыслительных структур и культурных ценностей. Именно в этом отношении она больше всего отличается от истории ментальностей, с которой, однако, имеет много общего; дело в том, что наша история интересуется в равной мере и разрывами, и категориями неизменными и неподвижными; она рассматривает жизнь учреждения или ученого не только в среднесрочном или краткосрочном плане (в неопределенных границах Старого порядка), но и в рамках весьма длительной временной протяженности; наконец, она более чувствительна к социальным особенностям и к взаимоотношениям, больше того, к конфликтам и столкновениям групп и классов. Одна из ее главных задач — соединить статистический анализ с качественным, и с их помощью выяснить, каким образом культурная форма или интеллектуальный мотив распространяются среди социальных групп, отдельных личностей или представителей того или иного типа поведения (что также является отличительным признаком). В рамках того изменения проблематики, которое коснулось целого поколения, мы стремимся дать ответ на два вопроса: о независимости культурных явлений и о создании *особых типов социального поведения*. Однако цель наших исследований не сводится к созданию социальной географии восприятия форм и идей; мы хотим положить начало изучению такого процесса, как потребление культуры, которое отнюдь не тождественно пассивному усвоению, но представляет собой также и созидание, активное производство чего-то нового. Слушать, смотреть, читать — чувственные и интеллектуальные формы деятельности, в которых свобода сочетается с ограничениями. Культура большинства создается этой возможностью *косвенного соучастия*, и все попытки изменить существующие формы поведения и деятельности следует изучать одновременно с формами сопротивления и уклонения. Это верно применительно ко всем уровням практической деятельности и чтения, поэтому социальная история культуры, соединяя несколько разных подходов, позволяет понять, в чем заключается процесс выработки новых ценностей, как индивидуальных, так и коллективных¹⁸.

Даниэль Роиш

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ИСТОРИИ КУЛЬТУР: На пути к истории потребления культуры

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Для создания социальной антропологии городской культуры необходима множественность подходов. Попробую показать на примере трех моих книг, какие возможности предоставляет изучение способов выбирать жилище, потреблять, одеваться, одним словом — жить.

Первая из этих книг — «Народ Парижа» (1981)¹⁹; в ней я поставил перед собой задачу заново взглянуть на историю поведения парижан из простонародья. Используя свидетельства современников, моралистов и литераторов, сопоставляя их отзывы, вдохновленные определенным видением народа и реформистскими устремлениями, с нотариальными документами, в частности, описи имущества покойных с бумагами из архива полиции, я стремился, по мере сил сочетая статистический метод с анализом текстов, нарисовать сложную и полную контрастов картину жизни низших слоев городского населения.

На примере эволюции отношения к вещам я показал, как происходило одновременное обнищание и обогащение населения Парижа, и тем самым дал смешанный ответ на тот вопрос, который ставили историки революционного кризиса, начиная с Мишле (убежденного, что революцию породила нищета) и Жореса (полагавшего, что революцию породила зажиточность). Проблема роста трудностей неотделима от проблемы овладения новыми ценностями и новыми требованиями, которые прокладывают себе дорогу с разной скоростью, выражаясь в возникновении новых типов потребления и новых границ между частным и публичным, в широком распространении новых норм повседневного поведения. Отсюда можно сделать вывод, что народная культура Парижа представляла собой не отражение реформаторских и религиозных устремлений, а постоянную борьбу за собственную хрупкую свободу, обретаемую в обыденном труде и отдыхе. Таким образом, культура помогала пролить свет на механизмы политики и конфликтов.

К тем же выводам подталкивал и бесценный рукописный документ, который я обнаружил, издал и откомментировал, — «Дневник моей жизни» стекольщика Менетра (1982)²⁰. Эта автобиография ремесленника, который вначале работал на хозяина, а потом и сам стал хозяином, давала представление о культурных способностях всего народа, подтверждала, что народная культура не сводится к отчуждению или пассивности, что у нее имеется собственная логика, которую необходимо расшифровать и понять. В пылких и авантюрных описаниях контактов Менетра с парижским «цехом подмастерьев» проявляется способность человека из простонародья к самостоятельным размышлениям; становится очевидно, что простолюдины имели собственный взгляд на устройство общества, на взаимоотношения между людьми, даже на политическую деятельность: на примере Менетра, человека Старого порядка, принадлежащего к сословию, членов которого позже назовут «санкюлотами», видна эволюция, которую претерпели творцы Революции. Этот стекольщик способен задуматься не только над смыслом своего призвания, но и над проблемами метафизическими; у него есть собственное видение религиозного мира. Сегодня многие исследователи XVIII в. ссылаются на «Дневник» Менетра; он переведен на английский и итальянский языки, вот-вот появится немецкий перевод; причина столь пристального внимания не только в выразительности самого текста, но и в том, что он дает материал для создания истории, учитывающей как системы коллективных ограничений, так и вытекающие из них индивидуальные точки зрения и частные волеизъявления. Знакомство с миром уникальной личности полезно, даже если личности этой не удалось освободиться от социальных императивов, случай же Менетра ценен особенно тем, что помогает написать историю возникновения социальных и культурных установок, равно как и историю символических и реальных взаимоотношений между угнетаемыми и угнетателями, историю притяия или отбрасывания одними людьми ценностей других, говоря короче — историю свободы и подчинения. Выясняется, что наряду с «литературной республикой» существовала республика внелитературная.

В ходе работы я ощутил, что мне не хватает объемного видения иерархических связей, без которого невозможно построить социальную феноменологию. С другой стороны, я понял, что необходимо исследовать семантику репрезентаций, принципы классификации и восприятия, тесно связанные с системой власти. В «Культуре внешнего облика» (1989)²¹, посвященной истории одежды, речь шла о парижском обществе в целом, но рассказ о нем позволял поставить более общие вопросы, касающиеся формирования современных обществ. Прежде манера одеваться в гораздо большей степени, чем сегодня, отражала социальные коды, нравственные и религиозные императивы, управляющие повседневной жизнью. Условности выбора костюма подчеркивали иерархию внешних обликов: каждый должен был казаться тем, кем он и являлся.

Однако в XVIII в. ситуация меняется кардинальным образом: теперь каждый может казаться тем, кем он хочет быть, и даже тем, кем он быть пытается. Игра моды, расцвет городской цивилизации ведут к размыванию знаковой системы одежды; появляются новые знаки и новые условности.

Для того чтобы это продемонстрировать, пришлось провести сравнительный анализ гардеробов и фасонов, изучить их распространение в разных промежуточных сословиях, где и происходит смешение старого с новым, — в среде дворян и армейской среде с ее мундирами. Пришлось изучить экономические условия спроса и рынка, условия производства тканей, используемых для пошива одежды; все эти экономические обстоятельства служат и причиной, и следствием перемен. Знакомство с техникой изготовления одежды, ее продажи, покупки, воровства, дарения, показывает, как сильна была в обществе, стремящемся к стабильности, склонность к подражанию и какую изобретательность проявляли производители одежды, пытаясь удовлетворить спрос как на необходимое, так и на излишнее. По упоминаниям одежды в романах, философских сочинениях, медицинских трактатах, богословских трудах и политических дискуссиях видно, как эволюционировали нравы, как менялись понятия о целомудрии и гигиене, как трансформировались мыслительные привычки и как все это отражалось на картине мира в целом.

Одежда — такой же *всеобщий социальный факт*, как и книга, — распространяет и умножает информацию, доступную всем; она представляет собой все более усложняющийся язык, которым члены общества постепенно овладевают. Так в Париже и вообще в городах дореволюционной Франции совершается перемена, имеющая огромное значение для западных обществ. В динамике одежды отражается такое важнейшее событие, как рождение общества потребления, служащего переходным этапом от неподвижного государства — идеала христианской политической экономии — к обществу развивающемуся, в котором царит обмен и поощряется движение вперед. Поэтому в истории внешнего облика находят отражение все политические, религиозные, социальные конфликты старого мира, анализ которых позволяет предугадать и конфликты позднейших эпох.

Подводя итоги, скажу, что сегодня мне кажется возможным определить более точно мои личные предпочтения в изучении социальной истории культуры XVIII в. Мне представляется более важным изучение *культуры*, чем изучение *ментальностей*, поскольку я не ставлю на первое место непрерывные, бессознательные, устойчивые элементы Истории, поскольку я полагаю более полезным ограничить исследование более узкими хронологическими рамками, например, рассмотреть в подробностях одно столетие, поскольку я убежден, что анализ отношений между классами и усвоения определенных идей разлитыми социальными группами способствует пониманию разрывов и новаций, традиций и постоянства гораздо больше, чем анализ внеклассовый. Предмет моих разысканий — формы поведения, в которых выражаются и коллективные, и индивидуальные представления, общераспространенные формы чувствования, знания, мышления в их соотношении с определенным состоянием общества, а значит, с его историей. Таким образом, я выбираю историческую модель, для которой значение имеет не столько противопоставление разных типов истории — экономической, социальной, истории культуры, — существующих в силу нашего представления об иерархическом устройстве мира в целом, *от подвала до чердака*, сколько желание расшифровать деяния и творения людей в разнообразных обществах и на пересечении различных подходов.

Говоря короче, если объекты исследования по необходимости ограничены, мое видение этих объектов стремится стать всеобъемлющим и учесть как наследственное, так и приобретенное, как природное, так и выученное, как традиционное, так и подражательное, как логичное, так и противоречивое, как народное, так и ученое, сравнить то, что досталось по наследству, с тем, что явилось плодом новаторства.

Для того чтобы осуществить это намерение, мне приходится следовать трем принципам. Во-первых, нужно учитывать, что в истории разные временные этапы переплетаются один с другим, и поэтому отказаться от представления о линейности прогресса и от телеологичности, которая ищет в прошлом только ростки будущего. Следует забыть о *химере истоков* — что особенно трудно для исследователя *Века Просвещения*. Чтобы в полной мере оценить значение перемен и трансформаций, происходящих в данном пространстве и на данном отрезке времени, нужно признать, что некоторые явления и события, совершающиеся одновременно, принадлежат разным историческим процессам, разным историческим ритмам. Дело историка — оценивать действие и последствия наблюдаемых им отклонений. Во-вторых, не следует исходить из априорных социальных клише. Поскольку задача, стоящая перед историком, заключается в том, чтобы понять, *что может произойти в данном обществе*, он обязан обращать внимание прежде всего на конкретную обстановку, на принадлежность изучаемых им людей к одному из миров, одной из сред, нормы и привычки которой организуют жизнь европейского общества в XVIII в. Тот, кто исходит из априорных клише, испытывает гораздо меньшую потребность изучать факты, формирование идей, трансформацию форм поведения, создание новых способов видения; он обращает внимание, в первую очередь, на пассивное усвоение идей и форм людьми той или иной эпохи. Между тем важнее всего понять, как подступиться к изучению таких основополагающих категорий, организующих ментальность и культуру, как пространство, время, экономический рост, религиозные верования, научные открытия, власть. Наконец, в-третьих, не следует «разводить» принципы изучения интеллектуальной и материальных сфер. Если интеллектуальная история социальных и культурных фактов возможна, то лишь потому, что она основывается на изображениях реальности, на текстах и вещах, на их производстве, их восприятии, их потреблении. Важно применить в более широком масштабе уроки, извлеченные из работы над историей типов общения и историей книги, — историей, в рамках которой идеи переплетаются с материальными объектами, тактика ученых и мыслителей — со стратегией коммерсантов и производителей, условия, в каких создаются тексты, — с условиями, в каких изготавливаются вещи, согласие со спорами. Именно поэтому я всегда настаиваю на необходимости рассматривать материальную культуру в связи с культурой интеллектуальной, ибо только так можно понять своеобразие европейской цивилизации.

Что же касается материальной культуры, то мне представляется обязательным отказаться от преимущественного внимания к событийному ряду, от описаний «повседневной жизни», грешащих расплывчатостью критериев. Ориентироваться следует скорее на работы Фернана Броделя, на концепции Люсьена Февра и Робера Мандру, на такого глубоко мыслившего и изобретательно ставившего вопросы ученого, как Ги Тюе. Кроме того, следует учитывать английские, голландские и особенно немецкие исследования, анализирующие перемены, которые произошли с миром потребления и потребителей, коммерциализацию современных обществ. Важно также порвать с европейской традицией, которая, начиная с Маркса, рассматривает отношения субъекта к объекту, общества к вещам сквозь призму отчуждения, колеблясь между ностальгией по временам, когда товары были редкостью, и экономическим и социологическим обличением излишеств и фальши. Для историков материальной культуры, опирающихся на данные антропологов и на их анализ опредмечивания в традиционных обществах, процессы обменов могут дать ключ к познанию социальных элементов, ибо феномены, связанные с процессом потребления, позволяют разглядеть за отдельными частными случаями значимые культурные трансформации. Период Просвещения в этом отношении особенно интересен, ибо, хотя он и предшествует наступлению индустриальной эры, именно на него приходится процесс урбанизации, с которым связаны ускорение темпа жизни, стремительное развитие прессы, объявлений, рекламы, торговли, чрезвычайная мобильность людей и вещей.

Однако историки культуры отнюдь не отказываются от намерения понять познавательную сторону процесса потребления. На всех уровнях реальности действуют определенные способы организовывать, классифицировать, подсчитывать. Сегодня уже невозможно противопоставлять анализ текстов анализу количественному и социальному. Статистический подход следует распространить и на самые интеллектуализированные тексты и способы их прочтения, равно как и на последствия их распространения в обществе. Спрос и предложение необходимо изучать как единое целое, ибо, как показал Жан-Клод Перро применительно к истории *политической экономики*, «они одновременно порождают друг друга и приспособляются друг к другу с течением времени». Изучение культуры позволяет перейти от одной сферы коммуникации к другой и оценить значение социальных кодов информации. Отныне Просвещение больше не сводится к фигуре мыслителя; Просвещение — это эпоха, когда рождается новое видение мира, это пространство новой материальности, которая распространяется из городов в деревни, свидетельство чему — споры о роскоши, торговле, народонаселении. Просвещение больше не отождествляется с утопией, оно предстает миром пользы и рационального управления, миром, в котором администраторы, инженеры, архитекторы, учителя, предприниматели, агрономы играют роль ни чуть не менее важную, чем философы и ученые. Та же самая могущественная логика, какую описал Монтескье в предисловии к «Духу законов», движет действиями всего общества, способствует увеличению числа вещей и людей, росту объема информации; необходимо приводить все это в порядок, классифицировать, систематизировать. Проницательный взгляд не может не увидеть, что в основе процветания и улучшения материальных условий жизни лежат научные открытия, что благодаря науке все более широкие сферы действительности становятся доступны пониманию. В книге «Франция в эпоху Просвещения», вышедшей в 1993 г., я предложил читателям общее видение проблемы и подвел некоторые итоги. Я сознаю, что мое специфическое видение эпохи Просвещения расходится с *духом времени*, ибо нынче интеллектуализация Истории не в моде. Впрочем, мои работы вписываются в международное движение, диалог с которым кажется мне необходимым. Для Культуры Просвещения Европа — естественная среда; для научного проекта, в основе которого — нежелание отделять материальную сферу от интеллектуальной, она среда необходимая. Даже если овладеть этим пространством трудно, подобное намерение достойно того, кто не желает отделять изучение социальных навыков, их обращения и обменов среди групп и народов от изучения текстов, в которых эти навыки воплощаются и посредством которых распространяются, что способствует их практическому применению. У нас нет другого способа показать, что культура — не что иное, как продукт, потребляемый в процессе его производства.

Примечания

1. Эта статья под несколько иным названием («Une déclinaison des Lumières») была напечатана в сборнике: *Pour une histoire culturelle / Sous la direction de J.-P. Rioux et J.-F. Sirrielli*. Paris, Seuil, 1997. P.21–49. См. Также: *De l'histoire sociale à l'histoire des cultures: le métier que je fais // Roche D. Les republicains des lettres: gens de culture et Lumières au XVIII^e siècle*. Paris, 1988. P.7–22. – *Прим. ред.*
2. *Леву-Строс К.* Структурная антропология / Пер. с франц. под ред. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985. С.264. – *Прим. ред.*
3. *Duby G., Mandrou R.* Histoire de la civilisation française. Paris, 1958. 2 vol.
4. *Febvre L., Martin H.-J.* L'apparition du livre. Paris, 1957.
5. *Livre et Société dans la France du XVIII^e siècle*. Paris, La Haye, 1965-1970. 2 vol.

6. Из работ, решающих сходные задачи, назовем книги: *Vovelle M. Ideologie et Mentalites. Paris, 1982; Idem. De la cave au grenier. Un itineraire en Provence, de l'histoire sociale a Histoire des mentalites. Quebec, Aix-en-Provence, 1980.*
7. *Furet F. Histoire: hier, ailleurs et demain, en marge des Annales. Histoire et sciences sociales // Le Debat, 1985. P.112–125.*
8. *Guinzburg C. Le Fromage et les Vers. L'univers d'un meunier du XVI^e siecle. Paris, 1980. P.19–20. (Рус. пер.: Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. – Ред. VL)*
9. *Chartier R. Intellectual or Socio-cultural History? The French Trajectories in Modern European Intellectual History. Reappraisal and New Perspectives. Ithaca, 1982. P.13–46; Burguiere A. The Fate of the History of Mentality in Annales // Comparative Studies in Society and History. 1982 (January). Vol.24. № 1. P.424–437.*
10. *Mornet D. Les origines intellectuelles de la Revolution francaise: 1715–1787. Paris, 1933. – Прим. ред.*
11. *Roche D. Le siecle des Lumieres en province. Academies et academiceins provinciaux, 1680–1789. Paris, La Haye, 1978. 2 vol.*
12. *Goulemot J.-M. Pouvoirs et savoirs provinciaux au XVIII^e siecle // Critique. 1980 (juin-juillet). T.XXXVI. № 397–398. P.603–613.*
13. «Cependant le systeme destructeur alloit s'etendant sur la France. Il s'etablissoit d'abord dans ces academies de provinces, qui ont ete autant de foyers de mauvais gout et de factions» (*Chateaubriand F.-R. Genie du christianisme, ou Beutes de la religion chretienne. Paris, Impr. Migneret, 1803. P. 6).* – Прим. ред.
14. *Chartier R., Martin H.-J. L'histoire de l'edition francaise. Paris, 1982-1986. 4 vol. Я принял участие в написании второго тома и был его ответственным редактором.*
15. *Chartier R. Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien regime. Paris, 1987.*
16. Книга Дарнтона (*Darnton R. The business of Enlightenment: a publishing history of the Encyclopedie, 1775–1800. Cambridge, Mass., 1979*) остается образцом для всех нас.
17. *Darnton R. The Great cat massacre and other episodes in French cultural history. New York, 1984. (Рус.пер.: Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002. – Ред. VL) Об этом споре см. также в уже упоминавшейся статье Роже Шартье «Intellectual or Sociocultural History?».*
18. Именно это я попытался сделать во 2-м томе книги *Goubert P., Roche D. Les Francais et l'Ancien Regime. Culture et societe. Paris, 1984. 2 vol.*
19. *Roche D. Le peuple de Paris essai sui la culture populaire au XVIII^e siecle. Paris, 1981.*
20. *Menetra J.-L. Journal de ma vie / Presente par D.Roche. Paris, 1982.*
21. *Roche D. La culture des apparences: une histoire du vetement (XVII^e–XVIII^e siecle). Paris, 1989.*

Об авторе (добавлено редакторами сайта Век Просвещения):

Даниэль Рош (род. в 1935 г.) - профессор Коллеж де Франс, профессор Парижского университета (Пантеон - Сорбонна, 1978-1997), профессор Европейского Университета Флоренции, председатель Кафедры истории европейской культуры (1985-1989), Директор Института новой и современной истории, UPR-CNRS (1990-2000); Доктор филологических наук, Сорбонна (1973), член Европейской Академии (1989), обладатель Национального гран-при в области истории (1992); секретарь редакции, затем директор «Журнала новой и современной (новейшей) истории» (1973); член французского Общества изучения XVII века, Общества XVIII века, Исследовательского общества робеспьеристов, Общества исторической демографии, Общества современных историков, Общества историков экономики и др. редакционных и административных советов.

Некоторые труды:

Свобода в познании. P.Bourdieu (1930-2002), редактирование в сотрудничестве с J.Bouveresse, O.Jacob

Бродячие настроения. Перемещения людей и польза путешествий

Лошадь и война в XVI-XX вв.

Столицы культурные, столицы символические

Даниэль Рош

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ИСТОРИИ КУЛЬТУР:
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого

Vive Liberta и Век Просвещения

Парижский альманах для иностранцев и любопытных лиц

Атлас французской Революции, т.11, Париж

Парижский народ. Исследование о народной культуре в XVIII в. (два французских издания, итальянский перевод, два издания в английском переводе - 1987 и 1998)

Дневник моей жизни. Жак Луи Менетра, стекольщик XVIII в.

Королевские конюшни XVI-XVIII вв.

Франция Просвещения

История простых вещей. Рождение Общества потребления, XVIII-XIX вв.

Более полную информацию, включая список статей, можно найти здесь (на французском языке).

Рекомендуем также статью *С.Блуменау* «Даниэль Рош - исследователь Старого порядка и Французской революции» в сб. «История и историография. Зарубежные страны». Брянск, 2001 (информация на сайте Брянского государственного университета).

На нашем сайте Вы можете познакомиться с работой *Д.Роша* «Ученый и его библиотека» из сборника «Век Просвещения» (М.-Париж, 1970).

Материалы, близкие по тематике:

Читатели Руссо откликаются - глава из книги *Р.Дарнтона* «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культуры»

Анатомия литературной республики в досье инспектора полиции - глава из книги *Р.Дарнтона* «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культуры»

Ж.Веркрюйс. Не только по вине Вольтера...

Й.Хёйзинга. Глава, касающаяся культуры и моды XVIII в., из книги «Homo Ludens»